

мировоззренческой интриги такова. Фигура Ницше характеризует фундаментальную гностическую провокацию современной мысли — «Бог умер», трансцендентного нет. Две последующие фигуры уравнивают данный тезис двумя антитезами. Хайдеггер: трансцендентное все же есть, хотя оно и иное, т. е. не то, что мы обычно под этим понимаем, представляя трансцендентное неким потусторонним сущим. Бахтин: подлинное человеческое всегда можно понять как откровение трансцендентного. В целом, можно подвести следующий итог. Книга Н. А. Грякалова, кроме того, что это оригинальное, местами захватывающее исследование, объединяющее науку, философию и искусство, содержит в себе коллизию преодоления гностической провокации как фундаментальной метафизической опасности современной мысли. Таково наше, надеюсь, не совсем субъективное впечатление.

*А. Н. ИСАКОВ*

## БРОСИВ ЖРЕБИЙ

Настоящая книга запущена из воображения в реальность. Радикальная метафора Вольфганга Гигерича, раскрывшая в свое время двойственную природу познания, всегда замкнутого на точку мономаниакального зануления, еще лучше работает, когда Читающему открывается доступ к ее топливу — выгорающей жизни Пишущего.

В известном тексте Беньямина «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» именно книга в перечне примеров неизбежного слияния копии с подлинником в техническое изделие отсутствует, и понятно, почему — здесь подлинность фундаментальное условие развертки значения. Сила ускользающей осмысленности жизни, разрываемой разнонаправленными усилиями антагонистов, ищет равную себе силу обналичивания, соединяя стратегию демиурга и его жизненный порыв в единство, части которого сцепляются в двух сосуществующих режимах, — изводясь в речи, умножаясь в Книге.

Тогда Книга становится гравитационной массой, сближаясь с которой, тот, кто добровольно выбрал роль Читающего, испытывает гравитационный коллапс и оказывается втянут в ее глубину. С этого момента сам он лишается возможности набрать критическую дистанцию по отношению к автору,

а достоверность его суждений о ней становится неважна. Речь его феноменологически и физиологически замыкается на жизнь Книги, а сам он становится ее медиатором. Это решение проблемы подлинности Пишущего.

Тот, кто, желая возможно более точного описания вещей, подчиняется интригующему его письму и речи, опасно влияет на свою природу... Ему необходима *пластичность*, чтобы справляться с распаковкой значений в зоне реальности, куда направлена ракета смысла. Для этого и тот, кто готовил ее к запуску, должен подтверждать свое право быть демиургом, взламывая коды дежурной вменяемости радикальным, нечеловеческим образом, получая тем самым неограниченный доступ к Читающему в зоне его предполагаемой автохтонности.

\* \* \*

Я появлялся в аудитории философского факультета, в которой речь Протагониста должна была высветить один из пунктов сценария Книги, за пять минут до начала действия, и сразу замечал сдержанное волнение непреходящих гостей «с улицы», занимавших первые места, и ленивое спокойствие студентов в глубине. Николай входил мерным тяжелым шагом, молча располагался за столом, молча доставал и включал диктофон. Так оператор за минуту перед началом рок-концерта скользит в темноте к пульту, подсвеченному зелеными и красными огоньками, — только размеренно гудят предварительно выведенные им на предельный режим усилители.

Сейчас, при наличии письменного подтверждения замысла демонтировать Слишком Человеческое, я понимаю, что регистрация *своего иного* — привычка сапера... Аналитик обязан фиксировать отклонения рефлексивного пробега, как целевую растрату сил стайер, биатлонист или боксер, размечая длительность различными отсечками интенсивности, — тогда в параллельном секторе сквозной аналитики повседневности изменится положение вещей.

Вглядываюсь в темноту работающей сингулярности, прожигающей ноосферу, и вижу, что квота разнообразия в тотальности жизни не заложена, разнообразие с неуклонностью растет, неизменным же остается только то, что оно схватывается катастрофически, как результат выгорания активных компонентов продуктивного воображения. Растрата жизни в актах продуманного активизма и сопутствующих этим актам событиях речи вызывает ретроактивный эффект разворачивающегося истока. Чем масштабнее перепрофилирование вещей и порядка слов, тем пристальнее необходимо вглядываться в упаковку

сингулярности. Схватывание разнообразия в подлинность катастрофичной жизни — это обратный вектор его контроля со стороны воли, обладающей дифференцирующей и вместе с тем генеалогической силой. Значит, выгорание жизни в актах речи и сопутствующих речи практиках — это ретроактивное событие Книги о судьбе того, кто производит Человеческое. Длительность письма вызвана сжатием речи, уничтожающей излишки материи с преднаходимым механизмом целеполагания. Задача Человеческого — размеренно наращивать власть активного над реактивным, поэзии над прозой, искусственного над естественным, скорости над оцепенением.

Мы приближаемся к конституирующей Книгу идее тотальной антропологии. Все, что не прошито значением, не стремится к интенсивному изведению своего содержания, не подлежит сокращению, не стремится к кульминации, — должно быть отсечено, сокращено и забыто. Простое целеполагание, направленное вовне, в потенциальную бесконечность, блокируется, внимания достойны только Интенсивность и Пустота. Удел Человеческого — подвешенность в пустоте, формообразующий принцип вытяжки смысла из всех наличных и потенциальных устройств и механизмов, предложенных к изведению. Эта книга о том, что было преодолено в человеке и человеком, чтобы можно было вести речь о сборках внутри и иноприродного, о культе трансцендирования, о наиболее выразительных конфигурациях духа и плоти, о следах перепричинения и о самой его природе, о том, как сиротствовать и повелевать в мире следствий, переставляя их местами, будучи в их толще и одновременно вовне, с их изнанки. Сопротивляясь, когда природа хочет сделать тебя животным животности, а техника вещью вещественности.

Было бы наивно заводить здесь речь о науке, фетишистской нарциссической сборке инструментальных практик в пакете с мифом о бесконечности познания и телеологическим принципом. Николая Грякалова интересовали более радикальные инструменты для взлома законосообразности и высвобождения из всех ячеек целеполагания. У Человеческого нет имени, но оно всегда находится, чтобы с его помощью произвести различие того, что синтезировано, и наличного положения вещей. Это имя того, что, подпав под поэтическое, конструктивное сокращение, ускоряется, а ускорившись, производит интенсивность как свой основной продукт. Человеческое переназывается с нечеловеческой скоростью: самое продуктивное, смыкаясь с наиболее выразительным, апроприируется в соответствии с задачей возвышения к могуществу, имеющей тайное предписание и строгий адрес действующей сингулярности.

Выгорающая речь выносит говорящего в зону созерцания, остановки, когда выявляются дальние причины смыслополагающего действия. Само действие компенсаторно организуется в регистрирующую запись, фиксирующую зазоры целе- и смыслополагания. Николай называл их «разломами».

В Книге различие отприродного активизма и сквозной аналитики фиксируется серией сюжетов, локализирующих зону Возвышенного как сферу Человеческого. Что же это? Сверхусилие отделения копии от оригинала, отсечение инерционных сил, сопутствующих начальным стадиям формирования хитрости разума. Жизнь — это испускание, выдох, за ним нет вдоха, он когда-то уже сделан. Выдыхание — это данное нам время интенсивных обменов, напряжение которых и есть Человеческое.

\* \* \*

Уже в авторском предисловии это намерение переписано в манифест. Радикальное намерение рассмотреть вывихнутый мир одновременно с лица и изнанки, когда мысль исследуется до того, как она стала чистым продуктом, а это мысль не обобщенная, неполная и потому лживая не своей двусмысленностью, а принципиальной неполнотой. В самом деле, Антропогенез это не постепенное нарастание Разумного на Природном, а серия актов экзистенциального самоизвлечения после критического накопления различного рода сбоев целеполагания и сброс их в контейнер интенсивных сквозных обменов знаками, как это бывает с компьютерными программами, когда они под оболочкой операционной системы начинают согласовываться нетривиальным образом.

Например, кататонический танец древних воинов — это организованная в видимый узор дискретность, имеющая топологический и символический эквиваленты, где плавность тела принесена в жертву спецификациям, собранным в единство вновь, им может воспользоваться атлет, подключенный к Раздору и Хюбрису. Если Природа сиротствует и не может выйти из круга циклизмов, то Книга имеет пророческую силу называть слабые точки повторений и показывать те потенциалы, благодаря которым возникало сквозное движение поперек. Конструктивистский пафос книги — это пафос сюрреалистов и модернистов, это пафос радикализованного Лаканом и Жижеком психоанализа, это пафос кинематографа, самого техногенного из искусств, ассимилирующего зрителя как зрительный орган. Все, что умножает силу искусственного разума, отнимает анонимную силу у власти и машин капитализма.

Материя содержит принцип своего изведения. Все значимое с неизбежностью дематериализуется и примыкает к акту экзистенциального самоизвлечения, *схватывания*, все цикличное и инертное, напротив, организуется вокруг принципов простой симметричности. Здесь зона различения эпифании и эволюции, граница между Борисом Гройсом и Филипом Диком, между Не-человеческим и Человеческим. Концептуалист и герменевтик Гройс, упоминая фильм «Бегущий по лезвию», утверждает, что память репликантов, обогащенная документами об их происхождении, превращается в генеалогию, которую нельзя уже отличить от иллокутивного действия. Здесь слишком человеческое непонимание базового различения живого и неживого. Филип Дик в романе, по которому снят фильм, указывая на сближение живого и неживого до видимой неразличимости, настаивает на радикальном преимуществе живого как ускользающего условия распадающейся жизни: живое перехватывает и удерживает инициативу смыслополагания, всегда парадоксального, а серию парадоксов может организовать только тот, кто подгоняет собственную инерцию, постоянно переписывая правила. Тест на человеческое не проба сентиментальности, а выявление радикализма искусственного разума.

Ученые доверяют приборам, а вот, например, прибор Войта-Кампфа, фигурирующий в романе в качестве тестера Кремниевое Разума. Не детектор лжи, а регистратор стандартов мышления. Репликант проскакивает проблемную зону эмпатии, намечаемую искусственным вопросом, затем возвращается к ней, но с микроскопической задержкой — прибор уже зарегистрировал сбой системного мышления. Николай говорил, что нельзя понимать за другого, как и любить, эта мысль помогает понять Человеческое как величественную однократность, повторить которую можно только с другого места, сама же оригинальность следов позволяет говорить о наличии агента, понимающего принцип Человеческого как возобновляющееся усилие сборки устройства смыслополагания.

Сила ищет только равную себе силу, чтобы составлять композицию. Это сила безупречной организации духа, имеющей неизбежно скрытый характер автономного разума, замыкающегося на силу обдуманного в возвышенном одиночестве поведения. Поэтому Книгу Николая Грякалова невозможно понять, удерживаясь только в границах вменяемого академического письма, выполненного по стандартам докторской диссертации. Согласимся с тем, что это неразрешимое противоречие — быть протагонистом греческого фатума и сюрреалистической сюжетности и вместе с тем обаятельным интеллектуалом,

специализирующимся на приемах слишком очевидного противопоставления Антонена Арто или Вильяма Гибсона блокбастеру или Сергею Лукьяненко.

Определить, где центр тематизаций Книги, не представляется возможным, если не понять и не принять анархической и атлетической природы дара ее демиурга и суверена, дара, перепрофилированного впоследствии в прилагаемых интерьерах заведения для натаскивания метафизического навыка, — в авангардистское усилие покончить с накопителями знания и выбросить их содержимое под беспристрастный взгляд интеллектуала, для которого аналитическая шкала академического сообщества ничего не значит, а затем в стилистику и практику киберпанка, тридцать лет назад с помощью ряда убедительных художественных проектов продемонстрировавшего ничтожность *человечества*, из последних сил опирающегося на спасительные принципы автоматизма моральной вменяемости и техномагии.

Герберт Уэллс, побывав в России в 1920 г., неожиданно противопоставил русский апокалипсис Владимиру Ленину, поразившему фантаста начитанностью, гностицизмом и мощью позитивного мышления. Энциклопедизм и фанатическая вера в законосообразность, которой можно пользоваться, — достаточно для того, чтобы посчитать авангардный социальный проект, полностью порывающий с историей и традицией, величественным.

Спустя почти сто лет мы убеждаемся, что почти ничего не изменилось. Если бы Уэллс еще раз приехал в Россию и встретился с Николаем Грякаловым, он мог бы вновь написать о русском апокалипсисе, но набросать более впечатляющий портрет его антагониста — искушенного интеллектуала, бесконечно далекого от утопических иллюзий дежурной вменяемости классического депота, и приверженного активизму самоотверженного нетабуируемого знания, работающего на износ, постоянно подтачивающего и отбрасывающего свое собственное дряхлеющее тело. Разница в том, что во втором случае регулятивом выступает автохтонный разум, замыкающийся на своего носителя, — разум, делающий контрольные надрезы Тела Без Органов.

Не этот ли режим Жижек назвал интерпассивностью, способностью субъекта познания к сквозному становлению путем ассимиляции паразитарной энергии различных механизмов, принцип управления которыми вынесен во вне. Разве можно что-то «сделать» в зоне машин, управляющий принцип которых формируется одновременно с их постоянно меняющимися конфигурациями? Система вещей замыкается на циклы, циклы на реактивность непластичной силы, а та на запрос простого наслаждения.

Нет, это не режим простой ассимиляции разнородных сил. В этой ситуации только автономный самодостаточный разум становится носителем и знаний, и практик их применения, подвергаясь опасному метаморфозу в актах самоизвлечения.

\* \* \*

Здесь уместно повторить: мы имеем дело не с академическим алиби-письмом. Не Былое и Думы, а диалоги, перепрофилированные в сквозную аналитику. Поэтому всякая развернутая мысль Книги имеет исток, это всегда результат предварительного сжатия, обработки и извода смыслополагающей практики в актуальных сценариях предельно сжатой речи, имеющей адресацию и обстоятельства, в которых она разворачивалась, а это титанические усилия протагониста преобразовать свою природу. Было бы уместно, учитывая авангардистский, величественный и возвышенный характер подобного замысла, выпустить ее в идеальной редакции в комплекте с дополнительным томом комментариев, поясняющих эти обстоятельства, а также фрагментами записей этих речей, как это бывает в исключительных случаях.

Кроме того, для сведущего ума Книга существует в тройной экспозиции — как Распечатка Искушенной Аффективности, или изнанка Чистого Разума («Антинаука Логики»), как Дневник Джонни Мнемоника (расширения стилистики киберпанка), и, наконец, как Дополненное Издание идей Коллежа Социологии (Судьба Человеческого).

Сюжет с обозначенными тематическими развертками сложился в Единство Тотальной Антропологии. Это практики трансцендирования (человек как уникальное животное), Обморок Природы (смыслополагающие сборки Человеческого), практики сверхчеловеческого (хроники Автотравматичного Разума).

Николай Грякалов был Прометей, поэтому касался радикальных, табуируемых вещей, судьба которых быть медиаторами человекомерности. Освоение этих вещей препятствует их полному очищению для академических потребностей. Поэтому возникает иносказание, совершаемое в условиях свободы с единственным роковым ограничением, делающим ее нетотальной. Это моральное предписание оригинальному и мощному уму от любой Академии, включая Платоновскую. Но, поскольку все-таки есть один пример абсолютной свободы ответственного письма и соответствующего такому письму радикального сообщества, у Николая был ориентир... И это эпистемология Коллежа

Социологии, не как кружка мыслителей, а как братства по оружию, сформированного для противостояния Человеческого его простым копиям — коммунизму, фашизму и капитализму как структурам *отзнавания*.

Коллеж создает единую антропологическую стилистику, — изощренную, беспощадную и неподцензурную сквозную аналитику Человеческого. Политэкономия, более радикальная, чем марксистская, феноменология, более радикальная, чем гегелевская, и точное представление о Слишком Человеческом, более радикальное, чем Слишком Человеческое Ницше. Никакого институционального распределения ролей, — ни литературных, ни политических. Весь приоритет науке, предмет которой — «жгучие сюжеты». Гетерология, неподконтрольная воля к знанию.

\* \* \*

Узнаем ли мы в этом письме, в этой речи и в этом образе жизни письмо Кожева, образ жизни Батая и речь Клоссовски? Вряд ли, только их общий дар смешивать потенциалы. Жизненный порыв Николая Грякалова трагически замкнут на сквозные необратимые обмены: марксизм смещается к киберпанку, литература к уличному театру, академическое письмо к усилиям атлета, профетическая речь к Книге о собственной судьбе. Абсолютная оригинальность — в подлинности Человеческого: не скрываться, не избегать, не убегать, не останавливаться, однажды угадав свое предназначение. Бросив жребий.

А. Н. Огарков